

18+

Виктор Бейлис

КЛУБОК МЭРИЛИН

Рассказы, пьесы, эссе

Виктор Бейлис

**Клубок Мэрилин.
Рассказы, пьесы, эссе**

«Издательские решения»

Бейлис В.

Клубок Мэрилин. Рассказы, пьесы, эссе / В. Бейлис —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-988024-6

«Клубок Мэрилин. Рассказы, пьесы, эссе» — третья книга авторского проекта, начатого сборниками «Старик с розами. Рассказы... и другие рассказы», 2019 и «Дьяволенок Леонардо. Рассказы и эссе», 2019. Здесь публикуются как уже известные читателям рассказы и пьесы, так и новые прозаические опыты автора. Своеобразный стиль и занимательность повествования наверняка привлечет внимание любителей литературы.

ISBN 978-5-44-988024-6

© Бейлис В.
© Издательские решения

Содержание

Об авторе	6
Клубок Мэрилин	7
Завтрак на пленэре	10
	20
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Клубок Мэрилин Рассказы, пьесы, эссе

Виктор Бейлис

© Виктор Бейлис, 2020

ISBN 978-5-4498-8024-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Виктор Бейлис

Об авторе

Родился в 1943 г. Закончил Институт восточных языков при МГУ по кафедре африканистики. Кандидат филологических наук.

Автор ряда книг по фольклору, литературе, религиям народов

Африки. Переводчик, эссеист, литературный критик. Книги художественной прозы:

- Реабилитация Фрейда. Бахтин и другие. Завтрак на пленэре. Актеон. М., 1992
- Американское издание: «The rehabilitation of Freud. Bakhtin and others» (Transl. by Richard Grose). N.Y. 2002
- Роман «Смерть прототипа, или портрет». М., 2005
- Английское издание: «Death of a prototype. The portrait. Transl. and with an introduction and afterword by Leo Shtutin. London, Anthem Press, 2017
- Старик с розами. Рассказы... и другие рассказы. Издательские решения. 2019
- Дьяволенок Леонардо. Рассказы и эссе. Издательские решения. 2019

Публиковался в журналах «Иностранная литература», «Знамя»,

«Звезда», «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Время и место», «Лехаим», сетевом издании «Букник».

Опубликовал статьи о современных русских поэтах в немецких литературных журналах.

В 1992 году переселился в Германию.

Читал курсы лекций во Франкфуртском и Байрейтском университетах. Участвовал в передачах радиостанций «Би-би-си» и «Свобода».

Клубок Мэрилин

Некоторые любят выстраивать рукопожатные ряды: высчитывают через сколько рукопожатий можно было бы добраться до Пушкина. Допустим, мой отец видел внука великого поэта и при желании мог бы пожать ему руку. И вот он – Пушкин, совсем рядом, и я тоже помню чудное мгновенье. Однажды в молодости, восхитившись кадрами ленты, где Мэрилин Монро поет и софиты освещают ее так, что покровы на груди кажутся совсем прозрачными, я с юным задором подумал: «А как бы я мог добраться до этой божественной груди? Уж я бы нашел, что сказать, взявшись за нее!» (Это я, конечно, зря думал, что не окаменею, если это действительно произойдет). А на дворе ведь СССР и железный занавес. Вскоре, однако, мне с легкостью предоставили мысленную возможность добиться своего: мой приятель диссидентствовал, за него вступился Артур Миллер, тогдашний муж Мэрилин, и вскоре мой знакомый пожимал руку американского писателя, ту самую руку, которая... А?! Я уже почти дотянулся.

Но тут-то мне и наскучило заниматься выстраиванием этих цепочек или, добравшись до Мэрилин, я пресытился? Мне стало интересно распутывать сплетение многообразных и мультинациональных культурных линий, вернее, не столько распутывать их, сколько еще теснее сплестать. Назовем такое сплетение «клубком Мэрилин» – и за дело!

Вот я сейчас выстрою в линию имена и названия опусов, а вы попробуйте установить между ними связь или недоуменно вычеркнуть что-нибудь, на ваш взгляд, лишнее или нелепое.

«Сербия – Кармен – Пиковая дама – Иван Грозный – Галевы (автор оперы „Жидовка“, в советские времена называвшейся „Дочь кардинала“) – Мицкевич – Мериме – Чайковский – Пушкин – Бизе – русский песенный фольклор – литературные мистификации».

Разберемся? Я утверждаю, что в этой, на первый взгляд, странной цепочке нет ни одного лишнего слова и все заплетено в тесный клубок.

Для начала – вот романс Чайковского «Соловейко». Многие слушатели не затруднятся предположить, что Чайковский обработал русскую народную песню, тем более что слово «соловейко» – чисто фольклорное, да и суффикс в слове – специфически русский. Поинтересовавшись, тем не менее, авторством текста, узнаем, что это Пушкин. Ну что ж, Пушкин занимался обработкой народных песен. Известно даже, что он сам собирал в деревнях образчики фольклора и однажды передал выдающимся современным знатокам песенного творчества свою коллекцию с вкраплением собственных стилизаций под фольклор с просьбой разделить подлинно народные и авторские тексты. С этой задачей и по сию пору никто не справился.

Вот пушкинский текст:

Соловей мой, соловейко,
Птица малая лесная!
У тебя ль, у малой птицы,
Незаменные три песни,
У меня ли, у молодца,
Три великие заботы!
Как уж первая забота, —
Рано молодца женили;
А вторая-то забота, —
Ворон конь мой притомился;

Как уж третья-то забота, —
Красну-девицу со мною
Разлучили злые люди.
Вы копайте мне могилу
Во поле, поле широком,
В головах мне посадите
Алы цветики-цветочки,
А в ногах мне проведите
Чисту воду ключевую.
Пройдут мимо красны девки,
Так сплетут себе веночки.
Пойдут мимо стары люди,
Так воды себе зачерпнут.

Найдя стихотворение Пушкина в корпусе его сочинений, обнаружим, что оно входит в цикл под названием «Песни западных славян». К этому циклу Пушкин написал небольшое предисловие, в котором сообщил следующее: «Большая часть этих песен взята мною из книги, вышедшей в Париже в конце 1827 года, под названием *La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégowine*. {См. перевод}. Неизвестный издатель говорил в своем предисловии, что, собирая некогда безыскусственные песни полудикого племени, он не думал их обнародовать, но что потом, заметив распространяющийся вкус к произведениям иностранным, особенно к тем, которые в своих формах удаляются от классических образцов, вспомнил он о собрании своем и, по совету друзей, перевел некоторые из сих поэм, и проч. Сей неизвестный собиратель был не кто иной, как Мериме, острый и оригинальный писатель, автор Театра Клары Газюль, Хроники времен Карла IX, Двойной ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы. Поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в славенской поэзии, не усумнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию.

Мне очень хотелось знать, на чем основано изобретение странных сих песен; С. А. Соболевский, по моей просьбе, писал о том к Мериме, с которым был он коротко знаком, и в ответ получил следующее письмо:

Далее следует французский текст, воспроизводящий ответ Проспера Мериме, представляющий собой рассказ о мистификации – смесь гордости за то, что мистификация удалась и великие славянские поэты повелись на нее, попытки новой мистификации, а также иронии.

«Я предложил, – пишет Мериме, – сначала описать наше путешествие, продать книгопродавцу и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собирание народных песен и перевод их; мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять или шесть переводов... Вот мои источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный „местный колорит“: во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Баялуке. Ее заглавие я позабыл, но дать о ней понятие нетрудно. Автор старается доказать, что босняки – настоящие свиньи, и приводит этому довольно убедительные доводы. Местами он употребляет иллирийские слова, чтобы выставить напоказ свои знания (на самом деле, быть может, он знал не больше моего). Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечания... Вот и вся история. Передайте г. Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что и он попался, и пр.»

Да не попался Пушкин: текста, который можно было бы принять за источник песни «Соловейко» в «Гузле» нет. На мистификацию Пушкин ответил мистификацией же. И какой великолепной! Как лаконично, какая лирика, какая при этом фольклорность звучания!

Однако связь имен Пушкина и Мериме на этом не обрывается. Мериме, весьма способный к языкам, познакомившись с русским языком, был им настолько очарован, что стал утверждать, что это прекраснейший из языков Европы. Одним из первых произведений Пушкина, которое Мериме одолел с помощью русских друзей, была поэма «Цыганы». Французский писатель никогда и не скрывал, что источником для новеллы «Кармен» послужила именно эта поэма. Потом Мериме занялся переводами с русского, и первым его переводом стала «Пиковая дама».

Это и до сих пор образцовый перевод (кстати, «Пиковая дама» однажды издавалась во Франции под именем самого Мериме, а в другой раз было написано, что это перевод произведения Онегина). Язык Мериме в этом переводе обаятелен, хотя и несколько суховат и отличается французской изысканностью 18 века. В новелле есть некоторый налет готичности, но нет пушкинской влажности и тайны. Все равно это большое удовольствие для читающих по-французски проартикулировать труд Мериме.

Итак, «Пиковая дама».

Немедленно возникает ассоциация с именем Чайковского. Но Петр Ильич не был первым сочинителем оперы под таким названием. Первым был Жак Франсуа Фроманталь Эли Галеви (Жак Алеви), учитель и тесть другого композитора, Жоржа Бизе, помимо оперы «Кармен» по новелле Мериме, создавшего оперу «Иван Грозный» (лишь недавно обнаруженную в архивах и в России не исполнявшуюся).

Вот такой французско-русско-иллирийский клубок. Я гляжу на него умиленно-растроганный. Что из того, что я, конечно же, не пожимал руку ни Пушкину, ни Мериме, ни Бизе, что я, черт побери, не прикасался к божественному бюсту Мэрилин? Этот клубок, стоит только захотеть, можно запустить в любом направлении, и что за удовольствие распутать его и вновь скатать, зная все его узелки и сплетения! Задайте себе два «далековатых» понятия – и в путь: две точки скоро сойдутся самым удивительным способом, неправда ли, Мэрилин?

Завтрак на пленэре

В августе я понял, что мне не вмоготу, надо все бросить, отдохнуть, ничего не делать. Я поехал в маленький городок, окруженный лесами, на берегу реки. Здесь я собирался удить рыбу, ходить по грибы, фотографировать. Сойдя с поезда, я забрался в автобус – единственный в городе, – где сразу же свел знакомство с веселой бабешкой, предложившей мне незадорого комнату в своем доме. Мы столковались, и через час я уже был полностью устроен и даже успел взять в прокате велосипед.

Вечером мы с хозяйкой выпили купленную мною бутылку водки, но ее оказалось недостаточно, и на столе появился самогон.

– Тебя как звать-то? – в который уже раз спрашивала хозяйка.

– Алексеем Сергеевичем, – монотонно отвечал я.

– А я Мария Константиновна, – сообщала хозяйка.

Она рассказывала о своих прежних, по всей видимости, именитых постояльцах, и я заметил, что, чем уважительнее она говорит о человеке, тем вероятнее она назовет его «Ныколаичем». Поначалу я путался в ее «Ныколаичах» и спрашивал:

– Это который же Николаич? Николай Николаич?

– Так нет же! Я ж говорю – Ныколаич!

Вскоре я стал различать Ныкалаичей по интонации, с какой они назывались, и оказалось, что и сам я из Алексея Сергеевича превратился в Ныколаича.

Однажды Мария Константиновна, оговорившись, назвала меня Сергеичем, но тут же спохватилась:

– Ой, ты прости, Ныколаич. Это сосед у меня тут Сергеич, так я и тебя Сергеичем.

У нас установились добрые отношения – хоть я и не стал Николай Ныколаичем, но Ныколаичем все же был, а это обеспечивало мне веселое дружелюбие и уважительность. Я всюду разъезжал на велосипеде, пил у ларька пиво, горожане меня признали, мальчишки – товарищи по рыбалке – показывали грибные места – я отдыхал, я отдыхал! Меня зауважал один пьяница-хохол, которому я однажды, когда он страшно ругался возле магазина, сказал по-украински:

– Та що ж ти так сваришся?

– Що ти кажеш? – вскинулся он.

– Хіба ж так можна? – продолжал я.

– Земляче! – радостно завопил он. – Микола, так звідки ж ти? Ти ж, кажуть, з Москви?

А я Петро з Чернігова.

Он предложил мне выпить, осуждал меня, что я покинул Родину, и мой ответ, что он-мол тоже не на Украине, не казался ему резонным. Я часто видел его пьяным, и он горестно говорил:

– Ось бачиш, Микола, знову туга и так хмарно, так хмарно!

Я подружился со старым сапожником-евреем Мозей. Таких я видел в детстве и думал, что их уже нет.

– Молодой человек кое-что скрывает, – сказал он мне, когда я проходил мимо его мастерской, – это нехорошо, ай, как нехорошо!

– Что нехорошо? – изумился я.

– Молодой человек говорит, что его папу звали Николай. Николай – разве это имя для аида? Коля! Калман – вот как звали вашего папочку. У меня в молодости был друг – Борух – так он был вылитый вы. И между прочим, его папа тоже был Калман. Фамилия Маркштейн – вы, случайно, не родственники?

Я объяснил, как обстоят дела с моими именем, отчеством и фамилией, и он ошеломленно покачал кудрявой седой головой:

– Кто бы мог подумать – вы так похожи на еврея. Вы извините, что я спрашиваю, но может быть, ваша мама – еврейка? Нет? Ай-я-я-яй!

Мы много разговаривали, меня очень смешили его притчи – по любому поводу – и толкования Библии. А ссылался он чаще всего на Пушкина и Иисуса Христа. Однажды он пригласил меня к себе, и его жена Рива угощала нас чаем и вареньем.

– Познакомься, Ривочка, – сказал он, – ты можешь себе представить – молодой человек – не еврей!

Рива была удивлена.

– Но он не антисемит, – быстро добавил Мозя. Рива горячо одобрила это.

– Между прочим, Пушкин тоже не был антисемит. Он даже носил на руке перстень с еврейскими буквами. Этот перстень Пушкин называл своим талисманом. Вы помните эти стихи: Храни меня, мой талисман?

И Мозя прочел стихотворение от начала до конца, нигде ничего не переврав, но смешно интонируя.

И наконец, – как бы это сказать, не переступая границ скромности? – в меня совершенно по-женски влюбилась пятилетняя девочка, Ирочка. Все видели, как она расцветала улыбкой и, завидев меня, здоровалась на любом расстоянии:

– Здравствуй, Ныколаич, – слышал я издали, еще не различая ее в группе детей.

Вблизи она как бы застенчиво, а на деле кокетливо, опускала ресницы и отвечала на мои вопросы еле слышно. У нас стали принятыми подарки: я подносил ей конфеты и мороженое, а она подарила мне ценнейший фантик – обертку от американской жвачки, и однажды – розу. Не знаю, где она взяла ее, но это была свежая благоухающая пунцовая королевская роза. Я поцеловал ее ручонку, и она – клянусь! – покраснела и меня самого вогнала в краску. Сказать, что я был польщен, – недостаточно: меня просто распирало – никто еще так не тешил мою мужскую гордость. Я был благодарен моей маленькой даме и старался не оскорбить ее чувств взрослой снисходительностью. Я был с нею серьезен и грустен. Думаю, что за мою печаль она и полюбила меня.

Дни были длинными и наполненными. Ничто не мешало ни моему уединению, ни общению с кем бы то ни было. Мне не надо было ни с кем знакомиться:

если я заговаривал с человеком, то он отвечал мне как Ныколаичу, и я в конце концов и почувствовал себя Ныколаичем – Главным Ныколаичем города – и находил в этом удовольствие и отдохновение. Я даже стал обращаться к самому себе в третьем лице:

– Ну что, Ныколаич, не посмотреть ли сегодня закат на реке?

И я брал лодку, плыл на зеленый островок и оставался там до одиннадцати вечера – в полном одиночестве.

– Давай-ка, Ныколаич, сыграем сегодня в футбол с мальчишками, – говорил я себе. И становился на ворота, принося, по общему мнению, победу своей команде.

– Ныколаич, – сказал я себе как-то... и запнулся, не хотел договаривать. Но я сделал это: я сел у себя в комнате на кровать, положил на колени книгу, на книгу листок бумаги и карандашом написал письмо. Такое:

Послушай!

Здесь живут Они и живу я. Почему-то понадобилось сказать кому-то: «Ты». Пусть это будешь ты. Ты никогда не была для меня Ты – всегда только Она, женщина, с неопределенным артиклем – a woman. Я без тебя – просто без женщины. Мне хорошо, и только отсутствие женщины понудило меня сказать тебе: «Ты».

Я вижу, как ты злишься, скорей погляди в зеркало: от злости ты дурнеешь, возьми же себя в руки. Успокоилась? Ну, припудрись немного и читай дальше – ты ведь дочитаешь, правда? Впрочем, я твердо знаю, что дочитаешь.

Я здесь испытываю совершенно ребяческие радости, и нет дня, когда бы я не вспоминал самые счастливые минуты в моей жизни. Знаешь ли ты, что это за минуты? Это было, когда я впервые привез своего сынишку к Черному морю. Что такое море, он не знал, а дорога к нему шла через парк, где были пруды с золотыми рыбками. Увидев пруды, он решил, что ради них-то его и привезли сюда, и я долго не мог уговорить его пойти дальше. Наконец, он с неохотой оторвался от рыбок, и мы вышли на берег. Тут он высвободил свою руку из моей, подошел к самой кромке и неожиданно громко запел. Он пел в полном беспамятстве, потом, увидев, как я бросаю в воду камешки, понял, что ничего лучше этого не бывает, и, не прерывая пения, тоже стал бросать камешки. Слов в его песне не было, но контрапунктом он владел лучше Баха: он соотносился с морем, и небом, и деревьями и легко переходил от симфонии к антифонии, одновременно производя фонемы, которые никто не в состоянии был бы воспроизвести. Я чувствовал, что к моему горлу подступает счастье, мое горло набухло счастьем... На следующий день сын заболел тяжелой ангиной...

Так вот, здесь я почти пою, как некогда мой – теперь уже взрослый – сын. Правда, счастья, равного тому, я не испытываю: мои отношения с природой гораздо суше тех, что мне хочется установить с людьми. Тогда же мое счастье происходило не из общения с природой, а из совершенного контакта между мною (Я) и сыном (Ты). В немногих женищинах и очень нечасто мое Я встречалось с Ты, но только один раз Я с такой полнотой был захвачен Ты и переливался в него.

Я всегда искал этого, и кто же, кроме женищины, может стать для мужчины Ты. О, только не ты! Я не в состоянии объяснить нашу связь. Какая сила соединила нас? Кто так долго удерживал нас друг подле друга? Я не могу быть с женищиной, если не чувствую в ней возможности хоть ненадолго стать для меня Ты. Непереходимая граница между нами пролегла там, где Ты и не пахло; там было другое Я или что-то еще – толком не знаю. Мне это было понятно с первой минуты нашего знакомства – и тем не менее я, вопреки своей природе, не только смог вступить в связь с тобой, но и сумел в течение трех лет поддерживать эту связь, не находя в себе сил прервать ее – такую же противоестественную для меня, как, например, гомосексуализм.

Я не хотел бы оскорблять тебя – я хотел бы не оскорблять тебя. Я не люблю и не любил тебя. Если можешь, прими это не как оскорбление, не принимай это как оскорбление – ну, пожалуйста. Тем более, что, если честно, ты ведь можешь ответить – в этом ты всегда отвечала мне – взаимностью.

Но, может быть, тебя несколько утешит, что это мое письмо предпринято как – пусть и обреченная на провал – попытка хоть раз – на прощанье – сказать тебе Ты.

Прости

А.

На следующий день я решился отправить это письмо, но мне пришло в голову, что ведь нигде в городе я ни разу не заметил почтового ящика. Я отнес это на счет избирательности памяти – просто прежде мне не было надобности – и, выйдя из дому, осмотрелся по сторонам. Мне пришлось пройти несколько улиц, прежде чем я окончательно утвердился в убеждении, что ящиков действительно нет. Я обратился к нескольким горожанам и получил довольно невразумительные ответы.

– Так это ж на почте, – говорили они и тут же замыкались, как будто я спрашивал о чем-то неприличном.

По счастью, я встретил Петра.

– Навіщо тобі? – мрачно произнес он и стал пылко объяснять, что я скоро все равно уеду и, стало быть, письмо отправлять не нужно, что он, Петро, вообще писем не пишет и мне не советует, что это – «кайдани» – дальше полилась традиционно-мятежная украинская речь с проклятиями «хай їм» и «щоб їм». Я ничего не понял, но все это меня страшно подзадорило и укрепило в желании во что бы то ни стало найти почту, и Петро, заметив это, разом замолчал и жестом показал, что проводит меня.

Мы долго шли какими-то переулками, пока, наконец, не дошли до небольшой площади, где перед пятиэтажным домом собралась кучка народа. Я огляделся, но не обнаружил ни ящика, ни какой-либо надписи, оповещающей о присутствии на площади почтового отделения. На мой вопросительный взгляд Петро ответил кивком головы, указывая куда-то вверх. Я поднял глаза и увидел почтовый ящик. Он был прикреплен на углу дома между четвертым и пятым этажом. Ближайшее к нему окно было замуровано, но вровень со швом четвертого этажа был пущен узенький, в ширину ступни, карниз, по которому, видимо, следовало пробираться к ящику, выйдя из окна почтовой конторы.

Тут я понял, почему на площади собралась толпа: из окна пытался выбраться совсем дряхлый старик, который и по твердой-то земле едва ходил, и неясно было, как он собирается пройти по карнизу. Я возмутился – почему никто из толпы не взялся опустить его письмо, но мне объяснили, что свое письмо можно отправить только самолично, поскольку в конторе присутствует милиционер, проверяющий документы отправителя. А старичок уже ступил на карниз и, держась за стену, медленно и осторожненько пробирался к ящику. Но он не дошел... Он упал... Толпа выдохнула и окружила тело. Как потом установили врачи, старик умер не от падения, а, наоборот, упал, потому что умер.

Из конторы вышел милиционер. Он подобрал письмо, лежавшее на земле, и сказал:

– Граждане, оглашаю текст. Толпа стихла.

Милиционер разорвал конверт, развернул листок и, медленно разбирая слова, прочел:

– Сынок! Плохо мне, и я скоро помру. Приехал бы ты, сынок, а то некому и схоронить будет. Отец твой, Григорий Степанович.

– Ну уж это зря он, – от себя заметил представитель власти. – Схороним за милую душу на общественные средства.

В толпе я увидел Мозю; он стоял, опустив голову, плечи его вздрагивали, и слезы катились по щекам. Я подошел к нему. Я заплакал и сказал:

– Мозя, ты старый, мудрый человек, растолкуй мне. Я не понимаю, я ничего не понимаю, Мозя? Он погладил меня по голове и прошептал:

– Все правильно, молодой человек, все правильно!

– Да как же так? Что ты говоришь! – возроптал я.

– Старик был тяжело болен, я хорошо знал его. Если бы он сейчас не умер, он бы еще несколько дней промучился. А приезд сына ничего не изменил бы, вы знаете – его сын и не может приехать – он отбывает срок за изнасилование. Вот так, молодой человек. Все устроено разумно – не помню, кто это сказал: Маркс или Спиноза. Дело в том, что почта была сильно загружена, и тогда те, кто умнее нас с вами, придумали нынешний порядок, и выяснилось, что почта была загружена зря: прежде молодые люди заводили в письмах шашни, а потом уезжали из города, чтобы завести семью где-то в другом месте, а зачем? разве нельзя жениться здесь? Потом они начинали в письмах просить деньги у родителей, а родители в письмах посылали своим детям наставления. Теперь все это не нужно, и численность населения постоянно растет, а не падает. Письма пишут редко – и кстати: зимой карниз поливают водой, и он заледеневаает. Так что отправляют письма только в самых крайних случаях. И вы, конечно, видите теперь, что все правильно, – заключил Мозя и закричал мне вслед, – куда же вы, молодой человек? Стой, Алеша, остановись!

Но я уже взбегал по лестнице на четвертый этаж, где предъявил свои документы и письмо. Выбравшись из окна, я быстро пошел по карнизу и у самого ящика понял, что опустить в него письмо еще труднее, чем представляется на первый взгляд, потому что надо присесть на корточки – иначе до щели не достать. Опустив письмо, я развернулся и стал на карнизе лицом к площади. Толпа напряженно следила за мной. Мне вдруг пришло в голову, что незачем проделывать весь обратный путь через контору, а можно перепрыгнуть на растущее под окном дерево, ухватившись за ветку, а потом спуститься по стволу.

– Э-э-э-х! – крикнул я и прыгнул.

– Э-э-э-х! – многоголосо воскликнула толпа, думая, что видит самоубийцу.

Но мой план удался, я благополучно спустился, однако был встречен под деревом милиционером, который строго сказал мне, что на первый раз ограничивается штрафом, потому что я приезжий (двадцать пять рублей!), а в следующий раз мне дадут пятнадцать суток. Толпа было вступилась за меня, но власти ничего и слушать не хотели.

Тогда я тихо сказал милиционеру:

– Фамилия!

– Чье? Мое? – удивился он.

– Ваша, ваша!

– Сорвачев. Лейтенант Сорвачев.

– А вы не боитесь, лейтенант Сорвачев? – многозначительно сказал я, постукивая своим паспортом по его плечу.

– Ну ладно, ладно, идите, – уступил он.

Я прошел сквозь толпу.

– Молодец, Ныколаич, – слышался восхищенный шепот. Позже я узнал, что лейтенант Сорвачев, показавшийся мне хамом, был совершенно чист передо мной: он действовал в строгом соответствии с Установлением, вывешенным на почте, где говорилось, что отправителю необходимо «вернуться в контору тем же порядком и зарегистрировать отправление». Я поступил противозаконно, да еще припугнул представителя власти своими московскими связями. Мне стало стыдно – но только на миг, и этот мгновенный стыд, сброшенный как наваждение, помог мне сбросить и весь этот эпизод, засевший, было, у меня в мозгу и непрерывно прокручивавшийся во всех своих деталях.

– Ну, Микола, хай їм грець! – восторженно говорил Петро.

А Мозя укоризненно глядел на меня, качал головой и спрашивал:

– Ну зачем вы так, молодой человек, я очень переживаю, я до сих пор успокоиться не могу. Вот, смотрите – мороз по коже, – и он засучивал рукав и проводил ладонью правой руки по всей длине левой, демонстрируя гусиную кожу.

А Ирочка перестала таить свою любовь, и однажды, когда я сидел на ступеньках своего дома, я вдруг почувствовал, как детские ручонки обвивают мою шею. Это моя маленькая дама тихонько подкралась сзади и повисла на мне. Я посадил ее на плечи и стал изображать лошадь. Мы носились до тех пор, пока она сама не захотела сойти.

– Ты – хороший, Ныколаич, – сказала Ирочка, – нагнись, я тебя поцелую.

От этого поцелуя я совершенно расплавился и потек – в нем была всегда побеждавшая меня не знающая удержу женская отвага и та нежность, которой я всегда беспрекословно сдавался. О нет, здесь не было ничего эротического. Ирочка была трогательное дитя, но меня умиляло столь явное проявление пола в крохотном ребенке, это были те же признаки женственности, что безоговорочно брали меня в плен, если их выказывали мои возлюбленные.

Итак, я остался – мой отпуск еще не кончился, и я все еще рассчитывал на отдых и забвение. Почтовое отделение закрыли на ремонт, и люди говорили, будто правила отсылки корреспонденции пересматриваются и уточняются. Старика в соответствии с обещанием лейтенанта

Сорвачева похоронили на общественные средства, и на кладбище пришло много народу. Я не пошел, хотя, как мне потом передал Мозя, меня ждали.

– Все-таки здесь покойно, – думал я, глядя на реку и подставляя лицо тихому ветерку. – Надо бы завтра с утрачка укатить на велосипеде куда-нибудь подальше, где я еще не бывал.

С этим решением я и улегся в постель, намереваясь поутру совершить приятное путешествие.

Проснулся я не сам – меня разбудили. Очнувшись, я понял, что стучат в окошко. Я встал и выглянул, но никого не увидел. Решив, что своим пробуждением я обязан детскому озорству, я быстро оделся и вышел на крыльцо. Из-за угла моего дома выглядывала незнакомая мне физиономия и при этом совершенно не детская. Прежде, чем я успел определить, кому принадлежит это лицо – мужчине или женщине, я заметил, вернее даже не заметил, а почувствовал какую-то странность этого лица, какое-то отклонение от нормы. Это было старушечье лицо, но почему-то сразу было понятно, что его обладательница не старуха. Из-под несильных стекол круглых очков на меня глядели маленькие, но выразительные глаза, подвижность которых изумила меня, – они как будто непрестанно промеряли все мои параметры – руки, каждую в отдельности, нос, уши и т. д. Волосы незнакомки были коротко подстрижены и изрядно повывезли. Губы не то горько, не то иронично кривились. Удивительным было то, что женщина как бы не знала, что я на нее смотрю, а почувствовав – не сразу – мой взгляд, она отдернула назад голову и некоторое время не показывалась из-за угла.

Мне стало не по себе, и я не мог разгадать смысла затеянной игры. Наконец, она выглянула. Ее глаза двигались уже не так, как прежде, она медленно поводила ими, вернее она как бы оставляла их на месте, а голову поворачивала, показывая мне профиль. В этом было нечто чрезвычайно зловещее, тем более, что глаза ее были черными, и в них был наполненный страшным смыслом блеск. Головой она указывала мне на что-то, но я не мог взять в толк на что.

– Не отдам, – вдруг произнесла она, – вот на-ка, выкуси, – и предъявила мне фигуру из трех пальцев.

Я опешил.

– Чего не отдашь?

– Велосипеда не отдам.

– Какого велосипеда? – глупо спросил я, уже сообразив, что речь идет о том самом велосипеде, который я взял напрокат. Его действительно не было на месте.

Тут из дома вышла Константиновна, моя хозяйка.

– Ныколаич, – зашептала она мне в ухо, – это ж, Танька, наша сумасшедшая. Это она, она взяла. Да ты с ей не чикайся. Поди, поди, отбери у ей.

Танька показала Константиновне язык и пропела:

– Отбери, отбери, попробуй! Да я уж съела его.

– Ой! Съела! – насмешливо сказала Константиновна. – Да ты не слушай, Ныколаич, поди отбери!

– Зачем тебе велосипед, – ласково начал я, – ты верни мне его, а я куплю тебе конфет.

– Велосипед-конфет-котлет, – задрознилась Танька. Лицо ее было безумно, но мне все время чудилась в нем какая-то мысль. Не отблеск мысли, не тень ее, но глубокая и мрачная идея. В этой сумасшедшей было больше ведьмы, чем безумицы, и я стал упорно настаивать, да и нельзя мне было без велосипеда. Кончилось тем, что я поймал Таньку за руку и стал тащить ее. Она сопротивлялась чрезвычайно странно – не упираясь, а пытаясь повиснуть на мне, и когда я ухватил ее за талию, она неожиданно подбросила ноги так, что я вынужден был подхватить ее, и она совершенно немислимим образом оказалась у меня на руках. Когда этот маневр ей удался, она затихла, и я почувствовал, что она, как ребенок, прижимается к моей щеке. Острая боль пронзила меня. Ее прикосновение вызвало во мне живейшее воспоминание. Я отодвинул ее от своего лица и стал вглядываться. Она уснула. Сон приостановил ее

подергиванья, и я смотрел на нее, узнавая и не узнавая. Над верхней губой ее пробивались женские усики, морщины обезобразили и без того некрасивое лицо, худоба ее тела была почти неимоверна, грудь как таковая отсутствовала, одета она была неряшливо и небрежно, хотя платье было не дешевым, я бы сказал, модным. Ни малейшей женственности! Однако... Однако от нее исходил некий магнетизм, бывший заменой женственности и даже превосходивший ее! Я думаю, что именно этот магнетизм вынудил меня попервоначально, когда она кривлялась, признать в ней ведьму.

– Ведьма – баба-яга? – спрашивал я себя. – Ведьма – панночка? Баба-яга – старуха, панночка – молодлица. Какова же она была в молодости? Должно быть ее нынешний магнетизм был юным обаянием, привлекавшим более красоты. Танька, – задумчиво пробормотал я и вдруг узнавание потрясло меня: Татьяна, Танечка, Танюша! Нет, не может быть. Это не она! Или она? Что же это? Как она попала сюда? Городская сумасшедшая! Боже мой, Боже мой!

Я знал ее (или все-таки не ее?) несколько лет назад. Я был влюблен в Татьяну, как я был влюблен! Она принимала мои ухаживания, ходила со мной в консерваторию, но при этом вела себя так, что любая попытка сближения с ней мне самому казалась бестактностью, и я был нелеп, как гимназист. А бывало так, что она остановит свои подвижные черные глазки и пронзит тебя пристальным взглядом, как на иголку нанижет, и ты почувствуешь острую боль в груди или в животе. Я терзался, но хотел ее, я вожделел к ней, хотя ребяческая робость сковывала все мои движения. Я думаю, Татьяна все это понимала, но она ни на что меня не поощряла, и я знал, что не только страсти, но и простой нежности мне от нее не дожидаться. А как я мечтал об этом, как мне это снилось!

Однажды я пригласил ее в ресторан на седьмом этаже гостиницы. Танюша согласилась, и я лелеял коварный план подпоить ее, привезти хмельную к себе и овладеть ею, что бы там ни было. Мы ужинали, и Таня не отказывалась от вина, откликалась на остроты, была разговорчива и насмешлива, пробегала глазами по столикам и подолгу останавливалась, но без пристальности, взгляд на мне. Я полагал, что вечер мне благоприятствует, но, конечно, волновался, и должно быть, выказывал некоторую нервозность.

Элегантный официант, обслуживавший нас, был предупредителен и как будто все о нас понимал или делал вид, что понимает. Он произвел впечатление на мою спутницу, и я тотчас понял, что, если бы я был он, Татьяна не стала бы чинить никаких препятствий. Это разозлило меня, и я решил поскорей закончить ужин.

Официант шел с подносом к нашему столику, и было видно, что какие-то особенно ловкие и изящные его движения утрированы и рассчитаны на то, чтобы понравиться Татьяне. Мы оба глядели на него. Приблизившись к нам, он случайно – было ясно, что это совершенно не входило в его планы – качнул поднос, с которого свалилась под стол вилка. Я нагнулся, чтобы поднять ее, как вдруг услышал душераздирающий вопль:

– Я сам!

Несоразмерность этого крика событию не успела поразить меня, потому что я уже приподнял скатерть и увидел то, что было у нас под столом. Все же я на мгновение обернулся – официант с вылезшими из орбит глазами окаменел, окаменел буквально, то есть превратился в камень, в статую, он был мертв. Живым был только ужас, застывший на его лице навечно.

Я вновь заглянул под скатерть. Там был провал, в котором клубилось, переворачивалось, поднималось и росло, дышало и вздрагивало, неравномерно пульсировало и затягивало – там шевелился хаос, и он двигался на нас.

– Скорей, – закричал я и, схватив Таню за руку, ринулся с ней к запасному выходу: ждать лифта было некогда. Мы бежали по лестнице с этажа на этаж. Танины каблочки цокали и задерживали нас – она сняла туфли и побежала босиком. А за нами уже клубилось, как будто облако ползло вдогонку и настигало нас. Мы добрались до выхода, но дверь оказалась заперта.

– Разбить стекло, – решил я, но тут же понял нельзя, облако пойдет за нами. Я разбежался и толкнул тяжеленную дверь плечом. Она не должна была подаваться, но она раскрылась, и мы выскочили в тот самый миг, когда хаос уже почти коснулся нашей одежды. Я захлопнул дверь и прижал ее своим телом. Я оставался в этой позе, пока Танюша ловила такси, и, хотя вскоре стало ясно, что хаос заперт в больше не преследует нас, я подпираю дверь до той минуты, когда, наконец, подъехала машина. Таня сама назвала шоферу мой адрес. Мы вошли, и я сразу же рухнул в кресло. Татьяна расхаживала по комнате.

– Боже мой, – говорила она, – Боже мой!

Потом:

– Ад! Это ад!

– Это ад попал мне под платье! Он проник в меня! – произносила она и теребила складки своей юбки.

Потом она стала подбрасывать кверху подол, бормоча что-то невнятное, и наконец, подойдя к моему креслу тихо и вкрадчиво сказала:

– Возьми меня!

Я смотрел на нее молча.

– Я говорю: возьми меня, – повысила она голос и вдруг залепила мне оплеуху.

– Это нестерпимо, – закричала она и стала хлестать меня по щекам, повторяя: Возьми меня! Возьми меня!

Я так же молча и со слезами на глазах смотрел на нее: я не мог пошевелиться.

– Ну ладно же! – угрожающе сказала Татьяна, надела туфли и вышла из дома, не заперев за собой дверь.

Вскоре она вернулась. И не одна: с нею был какой-то кряжистый, веселый мужичок. Увидев меня, он присвистнул:

– Ого! А это еще что?

– Не обращай внимания, – ответила Танюша, – у нас так принято.

– Принято? – загоготал мужичок. – Так ты что – импотент или извращенец? – обратился он ко мне.

– Импотент, – коротко бросила Татьяна и добавила:

– Не приставай к нему.

Но он все же вначале потрепал меня по плечу, а затем стал раздеваться, хитро поглядывая то на меня, то на Татьяну.

Я сидел в изнеможении и не мог даже отвернуться или закрыть глаза. Вспомнилась – кстати или некстати – новелла из «Декамерона» о том, как некий священник демонстрирует, каким образом черта следует загонять в ад.

Наконец Татьяна оттолкнула мужичка и брезгливо смотрела как он одевается. Надев штаны, он достал из кармана пятерку и протянул ее Тане.

– Убирайся, – внушительно сказала она.

– Но-но, полегче, – предупредил он. Таня встала, схватила его пиджак и вышвырнула на лестницу.

– Вон! – прикрикнула она, и он стремглав выкатился из комнаты.

Танюша захлопнула дверь и какое-то время голая стояла в той же позе, что и я, когда мы вырвались из ресторана. Потом она подошла ко мне, опустилась передо мной на колени и прошептала совсем тихо:

– Прости меня; пожалуйста, прости. Я гладил ее по волосам и не смел притронуться к ее голым плечам и груди. Она плакала, уткнувшись в мои ноги, и все повторяла:

– Прости меня! Прости меня!

Мы больше не виделись.

И вот сейчас у меня на руках спит безумная Танька. Она или не она? Танюша? Сумасшедшая? Ведьма? Я не знал.

Константиновна указала мне, куда следует идти, предупредив, что путь не близок: Танька жила на окраине. Я медленно шел через весь город, осторожно неся Таньку на руках. Мы почти дошли, когда я понял, что Танька не спит и наблюдает за мной сквозь полуприкрытые веки. Я опустил ее на землю, и она совершенно спокойно, не кривляясь, пошла рядом со мной. Мы молча приблизились к полуразвалившейся, кем-то давно брошенной избе, где теперь жила Танька.

Во дворе был небольшой навес, под которым стояли врытые в землю стол и скамья. На столе я с уже сом увидел спящего ребенка лет пяти. Танька указала мне на скамью. Я присел. Через минуту сумасшедшая вышла из избы, держа в руках тарелку. Она поставила тарелку на стол рядом с ребенком; на тарелке лежали две вилки и тонкая длинная котлете

– Ешь, – сказала Танька, разделив котлету в две части и придвигая ко мне половину.

– Я не хочу.

– Как не хочешь? А за чем же ты пришел?

– За велосипедом.

– Ха-ха-ха! – расхохоталась Танька и стала бегать глазами. – Это ведь и есть твой велосипед! Кушай! Выкуси! – И она вновь захохотала, проткнула вилкой свою половину котлеты и сжевала ее.

Что мне оставалось делать? Я тоже взял вилку и, нацепив на нее котлету, осторожно откусил кусочек. Котлета неожиданно оказалась вкусна. Когда я съел ее, я вдруг понял, я совершенно безошибочно знал: то, что я прожевал, было моим велосипедом, вернее его половиной, а еще точнее, задним колесом и седлом. Велосипед был во мне и смешался со мной. Танюша следила за моей трапезой, медленно поводя глазами. Когда я кончил, она тихо сказала:

– Ступай.

Я не двигался.

– Уходи же! – прикрикнула она.

Я пошел, потом обернулся. Танюша улеглась на стол рядом с ребенком, и они лежали в обнимку. Татьяна повернулась ко мне спиной, а проснувшийся ребенок смотрел на меня маленькими, но выразительными черными глазами, и взгляд его был не по-детски пристальным.

Отойдя на несколько метров от дома, я столкнулся с знакомым мальчишкой, который сказал мне:

– Ныколаич, тебя Константиновна кличет.

– А где она?

– Да вон за домом.

Я повернулся в указанном направлении и увидел свою хозяйку. Она делала мне какие-то знаки, и я подошел к ней.

– Ныколаич, – сказала она, – тут твой велосипед.

– Велосипеда больше нет, – ответил я, чувствуя, что могу передразнить себя, как Танька, добавив еще одну рифму к слову велосипед: велосипед-конфет-котлет-нет!

– Да что ты говоришь! Так вот же он! — настаивала Константиновна.

Велосипед стоял прислоненный к стене дома.

Я нагнулся и прочитал его номер. Номер соответствовал тому, что называли в прокате, но я не верил этому.

– Это какой-то розыгрыш, – думал я, – а что же я съел на завтрак? Нет, это фикция, мираж.

Однако этот мираж у меня в тот же день приняли в конторе проката.

Назавтра я, ни с кем не попрощавшись, уехал в Москву. Здесь меня зовут Алексеем Сергеевичем.

Июнь 1983

Бахтин и другие

Бахтин собирался провести лето на даче. Он хотел снять комнату с небольшой верандой и непременно где-нибудь недалеко от Москвы, чтобы можно было, не напрягаясь, возить необходимые для работы книги. Бахтин задумал статью о теории литературных прототипов: он полагал, что ему, если еще не удалось, то вот-вот удастся нащупать законы перехода характера из жизни в беллетристику и что эти законы едва ли не столь же определенные, как законы транспонирования в музыке. На даче статья должна была получиться; там всегда хорошо работаете – даже комары помогают.хлопаешь себя по лбу, когда тебя осеняет идея. И где же еще так часто хлопаешь себя по лбу, как не на даче, обороняясь от комаров?

Бахтин уже имел раздобытый приятелями номер телефона, по которому следовало позвонить и, спросив Николая Федоровича, договориться как раз о такой даче, какая нужна была. Николай Федорович пригласил осмотреть помещение и участок. Сойдя с электрички, надо было идти по Профессорскому тупику, потом по улице Лескова, бывшей Кагановича (это важно, т. к. есть еще переулок Лескова и, если не сказать «бывшая Кагановича», то могут послать туда), затем на углу Пришвина и архитектора Руднева смело толкать калитку с номером 17.

Николай Федорович, поджидая Бахтина, вскапывал грядки, и Бахтин сразу же и с удовольствием вызвался помочь ему в этом.

– Вы назвали по фамилии, а как, извините, имя-отчество? – спросил хозяин. Он был среднего роста и среднего возраста, белобрысый с намеком на рыжеватость, с маленькими зелеными глазами и пронизательным взглядом, на лице и руках едва заметно проступала конопатость, светлые подвижные брови срастались над тонким с небольшой горбинкой носом; узкие губы поражали не столько своей тонкостью, сколько длиной: когда они раздвигались, раскрывался неимоверный черный провал рта, который казался бы вовсе страшным, если бы не благородных форм точеный подбородок.

– Меня зовут Максим Менандрович, – сказал Бахтин.

– Максим... простите?

– Менандрович.

– Менандрович? Что же это за имя такое?

– Было такое на Руси. Из древнегреческого.

– Что же оно значит-то такое?

– По-гречески Менандр – это «мужская сила».

– Ах-ха! – с невольным смешком произнес Николай Федорович. – А позвольте спросить, как же называют дома вашего батюшку?

– Отец мой умер, – сказал Бахтин, – но дома его называли Андрюшей, и, если вам трудно запомнить мое отчество, можете величать меня Андреичем, а еще лучше зовите просто Максимом.

– Что вы, что вы, помилуйте, Максим Менандрович, как можно? Да ведь и удовольствие одно произнести ваше имя-отчество полностью: Максим Менандрович Бахтин, – медленно и торжественно проартикулировал Николай Федорович, делая рукой жест, как бы представляющий гостя большому обществу.

– А кем вы, простите, будете по профессии? – продолжал расспрашивать хозяин.

– Я филолог, – отвечал Максим.

– Это как же, я недослышал, вы птицами или там погодой занимаетесь либо же литературой?

– Я не орнитолог и не фенолог, а филолог – стало быть, литературой.

– Интересно, ой, ой, интересно! Завидую, завидую, – осклабился Николай Федорович, – а я вот инженер, простой инженер.

– Да и я вот простой литературовед, – защитился Бахтин.

– Ах, нет, нет, не скажите, литература – это, знаете, литература... Да... Это, знаете, это не всякий может. Уважаю, очень уважаю!.. Левушка! – вдруг закричал простой инженер, уважающий литературу. – Левушка! Поди сюда!

Из дома вышел высокий мальчик лет тринадцати, рыжий, сильно конопатый, с большим ртом и оттопыренными ушами.

– Вот, рекомендую, мой сын, Лева, – сказал Николай Федорович и испытующе поглядел на Бахтина.

– Лев Николаевич, – выдержал экзамен Максим и улыбнулся.

– Вот именно, вот именно, – подтвердил гордый отец, – не Толстой, конечно, – Павловы мы, но все же, все же... Левушка, покажи, пожалуйста, вот Максиму... мм... Менандровичу комнату.

– Ну что ж, пойдем, Лев Николаевич, – сказал Бахтин, обняв мальчика за плечи.

– Пойдем, – как-то вяло сказал мальчик и, освободившись от руки Максима, пошел по дорожке к дому.

Комната оказалась уютной, хотя несколько сырой. В ней были полуторный топчан с тумбочкой, круглый стол, накрытый плетеной скатертью, кресло, два стула и шкаф.

– Вот, эта комната, – как бы нехотя проговаривал Лева давно затверженный урок, – она, как видите, пока сыровата, но дело в том, что дом еще не прогрелся, солнечных дней пока было мало, да и топили только один раз. Мы еще пару раз протопим – печка за этой стеной, в дедушкиной комнате – и все будет окей – вся сырость уйдет. А вот веранда; здесь можно поставить раскладушку, ну, или что там хотите, а здесь холодильник. Восток слева, так что, видите, солнце, будет на веранде от восхода и до заката.

– Хорошо, очень хорошо, – сказал Максим. – А что, ты-то сам где проводишь лето? Уедешь куда-нибудь или здесь, на даче?

– Да я хотел в пионерлагерь, а они говорят: нет, давай на даче, ты же знаешь, дедушку не с кем оста вить, он болен, ему за восемьдесят. Я говорю: а дачника вы зачем пускаете? Он и присмотрит. А они говорят: не говори глупостей, так надо, и дедушка тебя любит, знаешь как, вот и поживите. Ну, и придется, видно, здесь.

– А что же родители, разве они не будут на даче?

– Нет, они приезжают только на субботу-воскресенье. Мама говорит, что не может после работы мотаться черти куда.

– Ну что ж, Лев Николаевич, будем вместе присматривать за дедушкой. И скажи уж, кстати, как его зовут.

Лева выдержал паузу – значительную и по времени и по смыслу, который в нее вкладывался, – потом сказал, быстро взглянув на Бахтина:

– Его зовут Федор Михайлович...

– Как? – поперхнулся Бахтин.

– Федор Михайлович...

– Н-да-а, – протянул Бахтин и вдруг развеселился. – Послушай, а ведь я знаю, как будут звать твоего сына и внука! Сказать?

– Интересно, – почти лениво сказал мальчик и выжидающе остановился.

– Сына ты назовешь Сережей, и он будет Сергеем Львовичем, ну а Сергей Львович, конечно же, станет отцом Саши – Александра Сергеевича! Так?

– Почему вы знаете? – смутился Лева.

– А разве не так?

– Мне папа говорил, что это должно быть так, что это давно задумано.

– А сам ты как к этому относишься?

– Да я не знаю, не думал еще об этом, только мне не нравится, что все зовут меня Львом Николаевичем.

– Ты не любишь свое имя?

– Имя как имя. Но вон соседка зовут Митькой, там вот Ирка живет, здесь Степка, а я – Лев Николаевич.

– Что ж, имя достойное.

– Достойное? – обозлился будущий дед Александра Сергеевича. – А вам было бы приятно, если бы ваше имя стало бы вашим же прозвищем? Потому что «Лев Николаевич» – это мое прозвище! А звать меня надо: Лева!.. Лева! Лева! – Он почти плакал.

Бахтин удивился и глубине переживания и глубине филологических прозрений мальчика об имени и прозвище. Ситуация совпадения прозвища с именем вдруг показалась ему столь же ужасной, как ситуация Эдипа, обнаружившего, что его собственные дети в то же время и братья ему.

– Лев Николаевич! – раздался голос из-за стены, отделявшей комнату Максима от хозяйских покоев. – Проводи гостя ко мне!

– Там живет бабушка, – шепотом сказал мальчик и громко ответил: – Сию минуту-с, Федор Михайлыч! – и, сделав приглашающий жест, в том же тоне – Бахтину:

– Пожалуйста-с!

Они прошли через веранду на участок, обогнули дом и оказались у входа на хозяйскую половину. По дороге Бахтин смутно подумал, что Федор Михайлович слышал весь его разговор с внуком, а стало быть, и жалобы мальчика, и все же позвал так, чтобы доставить Левае неудовольствие. И Лева сразу стал ерничать, и видно было, что он готовит какое-то лебезяще-слащавое представление.

– Театр для себя? Или для меня? – озадачился Максим.

– Вот-с, – сказал мальчик, – прошу знакомиться: Федор Михайлович – Максим Менандрович. Он захихикал.

– Действительно, смешно, – понял его Бахтин и улыбнулся.

– Очень рад, очень рад, – встав со стула и зашаркав шлепанцами, пошел навстречу Максиму старик.

Очень небольшого роста, согнутый, но какой-то свежий и чистенький, гладко выбритый, с розовыми щечками, Федор Михайлович долго пожимал и тряс руку гостя, повторяя:

– Приятно, чрезвычайно приятно!

Максим разглядывал деда. Серые волосы с аккуратнейшим пробором, белые (не седые) выступающие вперед брови, умные зеленые глаза, нос с намеком на орлиность, тонкие длинные губы, красивый узкий подбородок, руки подвижные с рыжими старческими пятнами, облик благороднейший, голос без малейшей хрипотцы (никогда не курил) и приятного тембра.

– Садитесь, пожалуйста, – пригласил Федор Михайлович. – Вы, я слышал, Достоевским занимаетесь?

Отвечать утвердительно на этот вопрос, заданный Федором Михайловичем, дедом Льва Николаевича и прапрадедом Александра Сергеевича, не было никакой возможности, и Максим сказал уклончиво:

– Я занимаюсь русской литературой XIX века.

– Ну, стало быть, и Достоевским тоже?

– Меня больше интересуют вопросы теории.

– Позвольте, но я ведь читал работы Бахтина о поэтике Достоевского. Это что же, родственник ваш?

– Нет, – односложно ответил Максим. Он всегда смущался, когда при нем упоминали Бахтина, но сегодня это превратилось в фантазмагию. Какая-то вакханалия имен! Максим

понял, что нечаянно включился в систему, постоянно действующую в семье Павловых, и более того – он восполнил собою какое-то недостававшее в системе звено, он даже вошел в этот клан, образовав побочную, но важную ветвь генеалогического древа. И Федор Михайлович, укориженно взглянув на Бахтина, дал ему понять, что он напрасно противится этому.

– Вы, должно быть, привезли задаток, – переменял тему старик, – Все финансовые расчеты – со мной,

– Да, конечно. Вот, пожалуйста.

– А когда вы полагаете внести остальную сумму?

– Я полагал к концу срока, но, может быть, вы хотели бы как-то иначе...

– Да, мне было бы удобно получить с вас сразу же по въезде. А уж за газ и электричество в конце сезона.

Это нарушало несколько планы Бахтина, а о дополнительной плате за газ и электричество он слышал впервые, но промолчал и лишь утвердительно кивнул головой.

Пока происходил этот разговор, Левушка сидел за столом и вначале аккуратно расчерчивал, а потом разрисовывал небольшой лист бумаги. Бахтин пытался разглядеть, что у него выходит, но ничего не было видно.

– Что ты там делаешь, Лев Николаевич? – спросил дед.

– Это я так-с, ничего-с, Федор Михайлович, – ответил мальчик и спрятал листок.

– Вечно что-нибудь рисует, – объяснил старик, – у него неплохо получается... Ну-с, мы с вами обо всем договорились. Когда же вы переезжаете?

– Думаю, через неделю, – сказал Бахтин и откланялся. Лева пошел проводить его.

– Можно взглянуть на твой рисунок? – попросил Максим.

– Да это так, это и не рисунок вовсе.

– А что же?

– Да это мы с ребятами так играем: рисуем денежные знаки.

– Фальшивые купоны, значит?

– Вроде того.

– Покажешь?

– Пожалуйста.

Максим взял протянутый листок. На нем было написано: «Hundred Dollars» и все было очень похоже, только вместо Джорджа Вашингтона был изображен Достоевский, изображен узнаваемо, но так, что из него проглядывал Федор Михайлович – дед Льва Николаевича! Но не одно лишь это ошеломило Бахтина: разглядывая купюру, изготовленную юным художником, он понял, что портрет Федора Михайловича был в какой-то степени и автопортретом!

– Не согласился бы ты подарить мне эти деньги, – осведомился Бахтин.

– На что вам? – лениво спросил Лева, потом вдруг оживился и добавил: Впрочем, извольте. Только не подарить, а продать.

– Продать? Любопытно! Сколько же ты возьмешь?

– Двадцать копеек – мне как раз не хватает для одного дела!

– Что ж, по рукам! Держи!

Лева огляделся по сторонам: нет ли свидетелей – и взял монету, показав взглядом, что о совершенной сделке следует молчать. Бахтин понимающе улыбнулся и дал понять, что полагает выгоду на своей стороне, как оно и было на самом деле, хотя с точки зрения педагогики, обмен денежными знаками представлял собою весьма сомнительное предприятие, и оба участника соглашения знали об этом.

Из сарая вышел Николай Федорович и спросил:

– Вы что же, Максим Менандрович, уходите уже?

– Да, мне пора.

– А я думал, вместе чайку попьем. Скоро придет моя жена, Людмила Григорьевна, и организует нам чай с вареньем. А? Оставайтесь!

– Спасибо, не могу, мне непременно надо через час быть в Москве.

– Жаль, жаль. Посидели бы, поговорили. Вы бы рассказали что-нибудь интересное о литературе, о писателях. Мы ведь все большие охотники до искусства.

– Я неважный рассказчик, да и привлекают меня вопросы сугубо академические, так что вряд ли мой разговор будет для вас занимателен.

– Ох, я замечаю, что вы все скромничаете! А может быть, смирение паче гордости? А? Ну, жаль, жаль! Что же, тогда до свидания! До следующей субботы!

– Всего доброго! – попрощался Максим, отметив мимоходом, что Николаю Федоровичу было почему-то известно то, что говорилось о переезде в комнате Федора Михайловича, как старик, видимо, знал, о чем беседовал Бахтин с его сыном, вскапывая грядки.

– Должно быть, уже известно и о нашем слевой обмене, – подумал Максим, и его души коснулось чудесное ощущение тайны. Это ощущение Бахтин любил едва ли не более всего в жизни, хотя оно всегда было для него овеяно грустью – томящей и легкой в одно и то же время. Но летучее предвестие тайны чем-то сильно отягощалось: какое-то напряжение поселилось в сердце и отдавалось во всем теле, до почти произвольного сокращения мышц, Максим попытался отогнать от себя невольную и необъяснимую тревогу, и вся обратная дорога в электричке прошла в обдумывании предстоящей статьи. Бахтин даже не сразу понял, что все вышли из вагона, – так был поглощен новой мыслью, которая показалась ему плодотворной и сдвигающей его остановившуюся было работу с места. Человек не обладает завершенностью, думал Бахтин, ею обладает лишь персонаж, то есть характер, прошедший через горнило сюжета. Только сюжет как некое единство придает характеру целостность и законченность. Стало быть, для обретения завершенности человеку необходим автор, то есть некто иной. Писатель-автор, пишущий о себе-человеке, раздваивается, описывая себя как иного, отчуждая себя от себя, иначе нельзя стать персонажем – даже в собственном произведении. Однако иной, не-я, чтобы стать персонажем, должен как-то войти в автора и быть его частью, его двойником, его эмбрионом. Иной входит в автора духом, дуновением и внутри него обретает плоть – уплотняется и оплотняется. Затем автор выдавливает из себя этот сгусток, огранивая его перипетиями, формируя интригами, обжигая мизансценами, выявляя его свойства соотносением с вещами и другими персонажами, и, наконец, освобождается от него, заперев, как в клетке, в сюжете.

Максим был рад: ему нравилась его новая мысль и казалось, что удастся сформулировать ее точно и изящно. Его забавляло также, что своими размышлениями он как бы обязан встрече с семьей Павловых. Однако, идя от электрички к дому, Максим вдруг забеспокоился: а что если он несамостоятелен? Ему даже неловко стало от того, где следовало искать истоки его идеи, и он решил не проверять совпадений. Все же, едва войдя в квартиру, он снял с полки том М. М. Бахтина и прочел: «Во всех эстетических формах организующей силой является ценностная категория другого, отношение к другому, обогащенное ценностным избытком видения для трансгredientного завершения. Автор становится близким герою лишь там, где чистоты ценностного самосознания нет, где оно одержимо сознанием другого...» Максим почувствовал себя опозоренным и оплеванным, а «трансгredientное завершение» было попросту размашистой оплеухой! Причем было ясно, что оплеуха исходила не от кого иного, как от Федора Михайловича; сразу вспомнился укоризненный взгляд старика, когда Максим отрицательно ответил на вопрос о родстве с Бахтиным. Пытаясь восстановить свою честь, Максим стал самому себе доказывать, что отношения: автор – герой взяты им в обратной перспективе, в аспекте не автора, но героя. Это персонаж ищет себе другого и находит автора, в которого входит, доводя его до безумия, до одержимости, настоятельно требующей экзорцизмов, изгнания непрошенного и оплотненного чужого духа, который покидает автора, становясь его двойником – и зачастую страшным, пугающим и угрожающим. Автор пассивен; действует и бесну-

ется персонаж. В запальчивости Бахтин почти уравнивал творчество с бесо-одержимостью, хотя всегда прежде полагал, что искусство делает излишними любые поиски доказательств существования Бога; какие еще аргументы – вот он – Бог. Сейчас же Максим сам был похож на бесноватого, и при этом отчетливо сознавал, что если бы из него стали изгонять беса, то сидящий внутри него чертенок отозвался бы лишь на одно имя – и он похолодел, называя это имя для себя: Федор Михайлович. Произнося его, Максим и впрямь успокоился, как если бы бес, соответствующим образом поименованный, выполняя правила обряда, изошел из него.

– Недурное заклинание, – усмехнулся Бахтин, – «изыди, Федор Михайлович!» – И его потянуло на дачу.

Всю неделю он как-то торопливо собирался, посреди сборов вдруг задумывался и садился за стол, бросал написанное на полуслове лишь для того, чтобы положить в сумку какую-то пустяковину, после чего зачеркивал только что сочиненное и опять вскакивал. Он уже не был уверен в том, что на даче будет хорошо работаться, но знал, что переселиться туда необходимо. В субботу – поехал. Его ждали: у калитки стоял Лева, на участке его приветствовал Николай Федорович, через окно веранды махал рукой Федор Михайлович и из летней кухни вышла, снимая на ходу передник, улыбающаяся Людмила Григорьевна.

– Добро пожаловать! – сказал Николай Федорович. – Вот, прошу знакомиться: наша домоправительница!

– Здравствуйте, Людмила Григорьевна!

– Я рада, Максим Менандрович! – быстро вскинув ресницы, произнесла хозяйка.

Сразу бросилась в глаза какая-то смесь напористости и смущенности в этой женщине. Что-то почти наглое было в ее чертах при явной застенчивости в выражении лица. Никак не укладываемые, лежащие на плечах черные волосы, черные, как бы испуганные, глаза, нервный рот, вздувшиеся на шее жилы (одна жилка бьется, заметил Максим), грубоватые руки, ноги тяжелые. На разглядывание Бахтин потратил не больше времени, чем это было прилично, но, отвернувшись к дому, успел перехватить цепкий и заинтересованный взгляд Федора Михайловича, который тут же отвел глаза.

– Начинается, – подумал почему-то Бахтин.

– Вы располагаетесь, Максим Менандрович, а я пока на стол накрою, – сказала Людмила Григорьевна.

– Что вы, что вы, не беспокойтесь, я бы не хотел вас обременять.

– Тут нет ничего обременительного: мы в это время обедаем, – вмешался Николай Федорович, – и надеюсь, вы окажете нам честь,

– Спасибо.

– Можно я помогу вам распаковывать книги? – спросил Лева.

– Конечно, пойдём.

Максим стал разбирать вещи. Лева и не думал принимать в этом участия.

– Вот книги – смотри, если хочешь.

– Да я уже видел – ничего интересного тут нет.

– А что же ты?

– Я... нет, ничего. – Мальчик дождался, когда собеседник посмотрел на него, и предупреждающе скосил глаза в сторону стены, за которой была комната деда.

Бахтин понял, что следует молчать, а Лева заговорил быстрым шепотом:

– Дед подсмотрел, как вы дали мне 20 коп, и пожаловался отцу. Отец был в неуверенности, как со мной поступить: я слышал – он с матерью советовался, говорил, может ничего, так и нужно, а она почему-то заладила: пусть отдаст, пусть отдаст. Вот отец и велел мне отдать.

Он остановился. Повисла пауза.

– Так что? – тихо спросил Лева.

– Что ты имеешь в виду?

– Отдать?

Максим пожал плечами.

– Тогда вот что: я сейчас громко скажу, что положено и как будто верну вам деньги – вон все та и ждут: в окошко поглядывают.

Максим украдкой выглянул и увидел, что Лев Николаевич прав. А тот между тем откашлялся и сказал:

– Я тут... это... в прошлый раз брал у вас займы 20 копеек – вот... возвращаю, – и он стукнул монетой по столу, но тут же сгреб ее в кулак и произнес без голоса: – Так я оставлю себе, ладно?

Бахтин кивнул, уже во второй раз уличив себя я педагогической неловкости.

– Отвечайте же что-нибудь, – шипел мальчик.

– Гм, если тебе больше не нужно. Ты уже распорядился как-нибудь?

– Да, спасибо большое, я хотел купить одну марку.

– И что же, купил?

– Нет.

– Что же так?

– Да Степка уже продал ее.

– Ты, кроме марок, ничего больше не коллекционируешь?

– Еще старые деньги.

– Ага, я так и думал. Тогда у меня есть для тебя подарок. Возьми вот ту книгу, видишь? В ней закладка должна быть. Нашел? Это ассигнация 860-х годов. Такие деньги сжигала Настасья Филипповна.

– Как сжигала? Это что же, из огня?

– Ты не понял, – засмеялся Бахтин. – Я почему-то решил, что ты уже читал «Идиота».

Настасья Филипповна – героиня романа.

– А-а... Я читал только «Двойника». Мне не понравилось.

– А почему именно «Двойника»?

– Мне дед дал... А за ассигнации спасибо.

– Может, это компенсирует тебе потерю марки.

– Да, спасибо.

– Левушка! – позвала Людмила Григорьевна. – Приглашай Максима Менандровича к столу!

За столом разговор все вертелся вокруг литературы, как ни пытался Бахтин повернуть его в какую-нибудь другую сторону. Людмила Григорьевна рассказала о своей сослуживице, которую выбрали в профком, и которая нагло присвоила себе том переписки Достоевского с женой вместо того, чтобы разыграть книгу. Ну, да ничего, Николай Федорович достал этот том, хоть и с небольшой переплатой. Николай Федорович заметил, что Анна Григорьевна отдала письма в печать изуродованными – она же так поначеркала, что до сих пор разобрать не могут, вот баба! А Федор Михайлович поинтересовался насчет переписки Достоевского с Суловой – не найдена ли? Бахтин нехотя отвечал, что слышал, будто бы в Ленинграде живет старый букинист, который держал эту переписку в своих руках и теми же руками ее и уничтожил, опасаясь, что интимные бумаги могут быть обнародованы.

Осведомленность Бахтина пробудила нескрываемый восторг Людмилы Григорьевны, само же сообщение вызвало у всех единодушный гнев, и Бахтин, было, совсем заскучал, но тут Левушка вызвался рассказать недавно услышанный в школе анекдот про зайца, и Максим посмотрел на него с благодарностью, в то время как родители взглянули на сына укоризненно.

Бахтина благодарили за беседу, а он, в свою очередь, поблагодарив за обед, отправился на первую свою прогулку. Когда же часа через два он возвращался, прямо перед ним каким-

то клубком влетела в комнату группа орущих людей: два мальчика, одним из которых был Лев Николаевич, мужчина и женщина. Войдя вслед за ними, Максим услышал:

– Не воровал я! Это не я! (кричал Левушка).

– А кто же? Кто взял?

– Почему я знаю! Не брал я твоего велика! У меня свой есть, а твой мне ни на фиг не нужен!

– Ты взял, ты! Больше никому! Там больше и не было никого.

– Степка был!

– Степка не брал!

– И я не брал!

Женщина сказала визгливо:

– Родители, да сделайте же что-нибудь! Ваш сын украл велосипед и где-то припрятал его.

– Вы хотите, чтобы мы наказали его? – спросила Людмила Григорьевна.

– Это ваше дело. Нам велосипед нужен.

– Вы, должно быть, хотите обыскать дачу? – вмешался Николай Федорович. – Или позвольте нам самим разобраться?

– Николай Федорович, – примирительно заговорил мужчина, – здесь в поселке ни для кого не секрет, что у вашего сына случаются приступы kleptomании. Ну и, сами понимаете, мы пришли к вам...

– Меня вы, стало быть, ни в чем не подозреваете?

– Помилуйте, Николай Федорович!

– Тогда позвольте, мы сами все выясним и, если найдем велосипед, Лева возвратит вам его незамедлительно. Всего доброго!

– До свидания.

Они ушли. Бахтин не стал дожидаться допроса, который должен был последовать, а может быть, и наказания, и пошел на свою половину. Он сел на веранде, попытался сосредоточиться, но это было трудно: доносились возбужденные голоса, и он видел, как отпирали вначале сарай, потом кухню и разные пристройки в поисках велосипеда. Максим перешел в комнату, чтобы не глядеть в окно, и замер на пороге: рядом с топчаном стоял велосипед. Максим рванулся тут же вынести его на двор, но передумал.

– Почему Лева поставил велосипед здесь? – спрашивал он себя. – Потому ли, что меня не было дома, и мальчик рассчитывал, что успеет вывести его до моего прихода? Или он видит во мне, если не сообщника, то снисходительного доброжелателя? А ведь он понимает, что я уже обнаружил его проделку. И, стало быть, я, в некотором роде, сообщник? Забавно! Однако не доносить же в самом деле! Подождем.

Поиски за окном продолжались. Лева плакал и божился, ему не верили. Федор Михайлович время от времени выкрикивал из своей комнаты:

– Это он, клянусь, это он! Позор! Какой позор!

И когда он в очередной раз произнес в окно нечто похожее, Лева вдруг сказал с почти несдерживаемой яростью:

– Если вы, Федор Михайлович, в детстве были kleptomаном, то это вовсе не значит, что я обязан повторить ваш жизненный путь со всеми вашими заблуждениями и пороками! Я – не Федор Михайлович! Я – Лев Николаевич!

Все, кроме Николая Федоровича, который закатил сыну оплеуху, онемели. Дед просто проглотил язык и при этом подавился.

– Боже! – сказал он, но лишь через несколько минут.

Что потрясло Бахтина, так это то, что яростная речь Льва Николаевича была, по его, филолога, мнению, приготовлена заранее и многожды про себя проговорена. Он вышел на крыльцо. Мальчик бросил на него тусклый взгляд.

– Я думаю, – сказал Максим, – не стоит искать велосипед. Должно быть, кто-нибудь из ребят позаимствовал его на время, и теперь он, возможно, стоит прислоненный к забору дачи его владельца. Хотите, я через некоторое время схожу посмотрю?

– Зачем же вам беспокоиться, – запротестовала Людмила Григорьевна.

Но он убедил всех в целесообразности этого шага и, дождавшись минуты, когда никто не видел, вывел велосипед и отвел его на «бывшую Кагановича», где сообщил владельцам, что нашел его у забора. Когда он вернулся, Левушка, ждавший у калитки, схватил его руку и быстро поднес ее к губам.

– Спасибо, – прошептал он, – это навсегда. Первый день на даче утомил Бахтина, и он стал устраиваться на ночь. Передвигаться по комнате следовало осторожно: за перегородкой спал Федор Михайлович. Бахтин слышал, как старик ворочается и побряхтывает. Когда Максим улегся головой к стене, звуки из соседней комнаты стали отчетливее. Дед постанывал, бормотал что-то, потом вдруг трагическим шепотом воскликнул: «Господи, за что? За что, Господи?»

После паузы он вновь забормотал:

– Боль, Боже, какая боль! Нет сил!

Максим, было, подумал, что Федор Михайлова жалуется на болезнь, но из дальнейших причитаний выяснилось, что он терпит страдания совсем другой рода.

– Ни капли любви, ни на йоту привязанности, – сетовал старик. – Или хотя бы послушание? Голос его зазвенел.

– Я говорю: послушание, где? Уважение к отцу к деду? Лев Николаевич, внук мой! За что? За что? О-о-о! Или эта – что же, не помнит она? Забыла все Хотя бы крохи благодарности! Да что там! Если сын родной сын... А-а!

Непохоже было, что застойные стенания когда-нибудь прекратятся, и Бахтин с головой накрылся одеялом, отчего ламентации, став неразборчивыми превратились в некое подобие гула. Пришел сон, который был прерван бодрым, зычным, красивым голосом Федора Михайловича:

– Восемь часов! Вставайте! Лев Николаевич подъем!

– Отец, не шуми, – говорил Николай Федорович, – ты ведь не знаешь привычек Максима Менандровича. Он, может быть, хочет утром поспать.

– Лето! Солнечный день! – восклицал старик, – Кто же это спит в такое время? Максим Менандрович – человек правильный – я знаю.

Бахтин, вообще говоря, работал по ночам, а в утренние часы любил поспать. Он полагал, что и на даче будет так же, но ему почему-то сделалось неловко, и он, неоднократно задумывавшийся о неверности своего образа жизни, решил, что вот есть случай переменить привычки. Когда он с мыльницей и зубной щеткой вышел к умывальнику, Федор Михайлович приветствовал его ослепительной улыбкой:

– Добрый день! Добрый-добрый день! Как спалось на новом месте?

– Спасибо, хорошо. А вы как почивали?

– Отлично, отлично! Я, знаете ли, сейчас в отменной форме.

Бахтин переминался с ноги на ногу, дожидаясь, когда ему дадут умыться: он терпеть не мог, если кто-нибудь наблюдал, как он чистит зубы. Однако похоже было, что Федору Михайловичу необходимо выяснить, как Максим предается именно этому занятию.

– Вы умывайтесь, умывайтесь, я ведь не мешаю вам, не правда ли? Бахтин мотнул головой и стал умываться. Старик дождался момента, когда он набил рот зубной пастой, чтобы спросить:

– А что комары? Не беспокоили?

– Ммм...

– Да, их еще мало. Они чуть позже появляются. А вы захватили с собой какие-нибудь репелленты?

– Ммм...

– Это, знаете ли, очень нужная вещь... Ну, умывайтесь, умывайтесь, а я пойду чай пить. Если хотите, я поставлю ваш чайник, а вы потом не забудьте выключить, чтобы газ зря не тратить.

Максим умылся, занес в комнату полотенце и задумался, какую надеть рубашку. Но тут в окошко застучал Федор Михайлович. В руках у него был чайник.

– Кипит, кипит, – говорил он сердито, – тут, знаете ли, очень теплотворный газ, так что вы уж следите, чтобы он не выгорал попусту.

Максим вскоре поосвоился на даче, пообвыкся и, хотя он часто забывал про сверхъестественную теплотворность газа на кухне, в остальном не нарушал заведенного здесь обычая, все ставил на место, если ему приходилось чем-либо пользоваться, привозил старику лекарства из Москвы, расспрашивал Льва Николаевича о школьных делах, а по субботам встречал Людмилу Григорьевну и Николая Федоровича. Наконец, стал писать свою статью, поскольку ради нее-то, как он полагал, он и поехал на дачу.

* * *

Однажды Бахтин работал допоздна, и вдруг в ночной тишине ему явственно послышался голос, с напряжением и надрывом произносивший:

– Нет, Максим, нет, нет!

Бахтин вышел и остолбенел: залитый лунным светом, во дворе стоял Левушка. Он был в одних трусах – из постели. Лицо его сморщилось, как у младенца, в плаче, а тело сотрясилось крупной дрожью – но не от холода. Глаза были открыты, однако, если и видели, то не явное.

– Ты не жалеяй меня, Максим, – выкрикивал он. – Я дрянь, дрянь! Подонок! Клептоман!

Максим тихо подошел, осторожненько взял мальчика за плечи, ласково сказал:

– Иди спать, Левушка.

Но Левушка сбросил руку Бахтина и закричал:

– А ты, дед, не тронь меня, понял. Усек, Федор Михалыч? Двойник сраный! Ха-ха! Я что-с? Да я ничего-с! Это так-с. Одни глупости-с!

Максим вновь обнял Леву, прикоснулся губами к его лбу – жара не было. «Сомнамбулизм» – понял Бахтин.

– Пойдем, милый, пойдем.

– А-а, Степка! Ну, попробуй, попробуй! Назови меня еще раз Львом Николаевичем, попробуй!

Надо было разбудить мальчика – иначе он не шел домой, упирался, отталкивал Бахтина с недетской силой, смеялся, плакал, угрожал, каялся, несколько раз поминал Максима, обращаясь к нему на ты и без отчества. Наконец он увидел Бахтина воочию:

– Максим Менандрович? – спросил удивленно. – Что это вы?

– Да вот, заработался и вышел размяться. А ты?

– А я... пописать.

– Ну, писай, писай, не стесняйся.

– Спокойной ночи, Максим Менандрович!

– Спи спокойно, Левушка!

Бахтин проводил мальчика глазами. В нем проснулось отеческое чувство, которое согрело его нежностью и одновременно прожигало тревогой.

– Как же он живет? – думал Бахтин. – Что за обиды терзают его, что за печали? Ах, мальчуган, мальчуган!

Наутро он спросил:

– Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, – удивился Лева.

– А как спалось?

– Нормально.

– Что снилось?

– Да ничего не снилось. Мне редко что-либо снится, даже обидно.

– А ты видел, какая ночью была луна?

– Нет, я спал без просыпу. А почему вы спрашиваете?

– Мне показалось, что ты выходил ночью, когда я еще работал, – пописать, наверное.

– Нет, я спал. А вы?

– Что я?

– Вам что-нибудь снилось?

– Нет, кажется, нет. Впрочем, постой. Снилось, конечно, снилось. Странно. Сон, как в детстве. Я летал. Говорят, когда детям снится, что они летают, – это они растут. Я уже давно не расту, а тут разлетелся. Мне снилась река, протекающая под горой – не та, что здесь, – и мне нужно с обрыва перелететь на другой берег. Я раскидываю руки и лечу, но немного не долетаю до берега и попадаю ногами в воду, а вода холодная – я так думаю, одеяло сползло и ноги замерзли.

– Хороший сон. Я во сне, если летаю, то уж непременно падаю – срываюсь с высоты какой-нибудь. А так, чтобы раскинуть руки... нет, не бывало.

У Бахтина дрогнуло сердце.

– А знаешь, что? – сказал он. – У меня есть палатка. Давай запасемся картошкой, консервами, пойдем в поход. К вечеру вернемся. А там, между рекой и лесом где-нибудь, разложим костерок, испечем картошку, поваляемся в палатке, да и домой, идет?

– Да? Правда? Когда?

– Да прямо сейчас. Долго ли укладываться – 15 минут на сборы.

– Сейчас, я только деду скажу! Сейчас!

Он убежал и вернулся через десять минут.

– Я не пойду, – сказал он, отводя глаза.

– Почему?

– Дед не пускает – говорит, что он не может один оставаться целый день.

– Жа-а-ль, – протянул Бахтин. – Верно, как это я раньше не сообразил!

Он не смог придумать, чем бы заменить поход и смущенно отвернулся, как если бы был виноват в том, что затея сорвалась.

Как выяснилось потом, родители мальчика тоже, как и дед, не одобрили почему-то инициативы Максима, и он больше не приглашал Леву даже на близкие прогулки и уходил один.

* * *

Максим гулял в том лесу, который жители дачного поселка считали дальним и в который ходили, только когда начинался грибной сезон. Здесь даже в субботу и воскресенье никого не было, и ощущение блаженной уединенности, подобно вдоху, расширяло грудь. Бродя по лесу, Максим придумал игру, и играл в нее сам с собою. Он облюбовывал дерево на поляне и шел к нему, воображая, что за деревом кто-то стоит. Этот кто-то должен был выйти из-за дерева, не дожидаясь, когда Максим к нему подойдет. Игра состояла в том, чтобы вовремя предсказать момент выхода незнакомца из укрытия, а также в том, чтобы максимально точно описать внешность, черты характера, ну и, разумеется, отгадать пол. Бывало так, что Бахтин подробнейшим образом рисовал портрет человека за деревом, но в тот миг, когда портретируемый должен был появиться на открытом месте, воображение Бахтина неожиданно и игриво подсовывало ему нечто совершенно непохожее. Случалось, и так, что Максиму напрочь не удавалось отгадать, в какую секунду его партнер выйдет из-за дерева. Однако после ряда трени-

ровок Максим заметил, что игроки выходят одновременно с тем, как его собственное сердце подаст им знак, как-то по-особенному екнув. Он больше не проигрывал, но тогда воображение по собственному почину усложнило игру, и люди стали выходить из-за других деревьев – не из-за тех, которые намечались в самом начале. Нельзя было понять, какой исход игры лучше: победа или поражение. Остановиться тоже было нельзя, хотя Бахтин много раз загадывал: вон то дерево – последнее. Он даже устал и, когда, подходя к последнему «последнему» дереву у самого края леса, услышал голоса, подумал, что это результат переутомления: до сих пор игроки молчали.

Но он быстро очнулся и сразу же осознал, что голоса настоящие – мужской и женский. Мужчина был агрессивен, женщина жалобно извинялась. Максим хотел обойти ссорящихся, но выйти на дорогу вовсе минуя их, не удавалось. Подойдя поближе, он услышал, что мужчина грубо бранится и даже матерится, женщина же, в которой Бахтин, увидев ее лицо, узнал Людмилу Григорьевну, умоляюще сжимает руки и глотает слезы. В это же самое время мужчина – Бахтин узнал и его: это был хозяин одной из дач поселка – коротко, но сильно ударил Людмилу Григорьевну по лицу. Она ахнула, и Максим бросился к ней, но она, впервые заметив его, успела сделать предостерегающий жест и, мгновенно надев маску спокойствия, светским голосом произнесла:

– Как хорошо, Максим Менандрович, что мы встретились – пойдем домой вместе.

Мужчина повернулся к Бахтину. Лицо его сохраняло еще следы злобы. Он молча кивнул и углубился в лес. Людмила Григорьевна взяла Максима под руку, и они пошли по дороге к поселку.

– Почему вы не позволили мне проучить мерзавца? – спросил Бахтин.

– Он не мерзавец, – возразила она, – это я... я очень... я ужасно обидела его.

– Как бы там ни было, – ворчал Бахтин, – бить женщину по лицу...

– Вам почудилось, Максим Менандрович, – почти весело сказала она, – он не бил меня по лицу. Он деликатнейший человек. И вообще – не придавайте значения этому эпизоду. Я даже не стану просить вас не выдавать меня: я знаю — вы по-старомодному благородный. Но я прошу вас, вы и сами ничего такого не думайте. Это все мелочь, пустяк, я бы вам рассказала, да тут и рассказывать нечего.

– Я ни о чем не спрашиваю.

– Конечно, конечно. Но вы поверьте, что эта история такова, что ее и рассказать-то связно невозможно: она навсегда будет понятна только участникам. Мне даже хотелось бы поделиться с вами, я вам доверяю безгранично, но, уж вы не сердитесь, говорить-то нечего...

Она остановилась, достала из висевшей на плече сумочки зеркальце.

– Погодите, я посмотрюсь... На минутку отвернитесь, пожалуйста... Так. Все. Я готова.

Бахтин повернулся. Она припудрилась, причесалась, подвела губы.

– Пойдемте?

– Пойдем.

Когда они подошли к дому, из окна смотрел на них Федор Михайлович.

Через несколько дней, когда Федор Михайлович в очередной раз прибежал с чайником в руках и замечанием насчет чрезвычайной теплотворности и необходимости недопущения утечки газа, Бахтин предложил вместе попить чайку, и старик сразу же согласился и уселся за стол на половине Максима.

– Я вот замечаю, – сказал он еще до того, как Максим наполнил чашки, – что вы все поглядываете на Людмилу Григорьевну... Да вы не смущайтесь – вы же здесь без женщины – дело житейское. Только я бы вам не советовал. Нет, вы не думайте, не потому, что она жена моего сына, а – как бы это сказать? – ну, ветрена она, что ли. Она ведь и замужем не впервые, да и здесь, в поселке, поговаривают, я знаю, о ее связях.

– Зачем вы мне это рассказываете, Федор Михайлович? Мне это знать не нужно.

– Ну, отчего же? Ничего такого здесь нет. Эти сведения вы могли бы почерпнуть откуда угодно – от любых соседей, например. Ну, и, если бы у вас был роман, я понимаю, неблагородно было бы узнавать о прошлом женщины – и не от нее самой. А так – что же?

– Простите, Федор Михайлович, мне и в моем положении не надо знать о прошлом Людмилы Григорьевны.

– Это какой-то нюанс, которого я, пардон, не улавливаю, хотя, помнится, в молодости тоже обучался манерам, да-с.

– Что ж, если угодно, примите это, как мою экстравагантность, а не этикетность.

– Экстравагантность – этикетность древнерусской литературы, хи-хи-хи, – вдруг тоненько засмеялся Федор Михайлович.

– Что, простите? – удивился Бахтин.

– Это я так, к слову вспомнил. Термин академика Лихачева, кажется, да?

Максим промолчал. Станный разговор, дикая концовка. – Но не удержался и про себя произнес нечто еще более странное: «Теплотворность литературы – этикетность утечки». И добавил: «Термин Бахтина. Из книги «Занимательное литературоведение».

– Ладно, – сказал Федор Михайлович, – оставим это. А как вы находите Леву?

– Хороший, умный мальчик.

– Давайте только без лицемерия, ладно?

– Янисколько не лицемерю. Сказал, что думаю.

– Да? А я думаю – скверный мальчишка. Не повезло мне с потомством – ни с сыном, ни с внуком. Серые они какие-то, тусклые – и нехорошие, бесчувственные. Особенно Лев Николаевич. Временами мне чудится, что он просто ненавидит меня.

– Вы ошибаетесь, – сухо ответил Максим, – в обоих случаях, то есть и с сыном, и с внуком. Что же касается Левы, то, повторяю, мне он кажется смышленным, даже талантливым ребенком, он еще проявится, помяните мое слово. В отношениях с вами он действительно непрост, но таков уж стиль вашего семейства, не так ли? Ну, а кроме того, во все времена дети возраста Левы порой доходят до ненависти к старшим – ничего противоестественного здесь нет. Это лишь оборотная сторона их близости с родными.

– Вы полагаете? – задумчиво произнес старик. – А я все же считаю, что он засранец, – весело заключил он.

И Максим понял, что неприятное для него чаепитие можно считать законченным. Когда Федор Михайлович вышел, Бахтин, посмотрев по сторонам, набрал полную ложку джема и положил на язык; во рту было страшно горько, как в детстве после порошка, который и следовало закусывать вареньем и запивать чаем.

Августовский день был изнуряюще жарким, пала душная ночь. Максим был весь в испарине, но его колотила дрожь. Он трясся и залез под одеяло. Под одеялом становилось невыносимо – он откидывал его и начинал дрожать. Тогда он опять накрывался и опять изнемогал. Сон не шел. В голове Максима кто-то установил проигрыватель и непрерывно прокручивал на нем песни советских композиторов:

«И совсем твоею стану, только без тебя» – «Такой зеленой нет» – «Не эта ледяная синева... зеленая, зеленая трава» – «И все твои заботы, как айсберг в океане» ... Холодно, холодно, жарко, пить, но это же кипятки, ледяной кипятки, кипит, это кипит жидкий кислород, как айсберг в океане, только без тебя, ты – тень теней, тебя не назову... твоё лицо, холодное и злое, нет, нет, ты – зеленая... зеленая трава. Я ударю, сейчас ударю... будет больно, очень больно, но ты прости, так надо, так будет лучше. А-а-а! Мне тоже больно! Потерпим! И ты... ты тоже прости... Без меня... Нет, не я, не я! И не ты! Я один! Я хочу один! Вырвусь, я вырвусь! ... Вот он, гром... это гром... наконец гроза! и из грома голос... тихий, не разобрать... Опять! Прислушаться. Что это?

– Максим Менандрович!

– А? да! Кто, кто это?

– Максим Менандрович, это я, Федор Михайлович, взгляните сюда, – старик стучал в окно и, поймав уже осмысленный взгляд Бахтина, объяснил:

– Вы, должно быть, заболели, метались всю ночь, я слышал за стеной. Вы уж извините, но нам с Левушкой нельзя заражаться – мы к вам не войдем, но Левушка сейчас поставит на ваше крыльцо горячее молоко и бутерброд, вы возьмите, поешьте.

– Спасибо, не беспокойтесь, я справлюсь.

– У вас есть лекарства?

– Да, да, спасибо.

Максим опять уснул, так и не поднявшись с постели и не взяв молока. Он сам слышал, что вскрикивает во сне, и понимал, что бредит. Говорил очень быстро, иногда глотая слова, а иногда произнося их чрезвычайно отчетливо. Поднимал правую руку и с силой опускал ее на постель. Он чего-то хотел, страстно желал и стремился к этому. И понял, и сформулировал; Раздельность! Раздельность и неслиянность! Вот! Вот свобода! Рраз! И еще! и еще! Рраз! А-а-а! И дробь, барабанная дробь. А?

– Дед просил узнать, не вызвать ли скорую?

– А? Нет, спасибо. Я сам. Спасибо. Уже лучше. Спасибо, спасибо.

– Завтра мама придет – она поможет, наверно.

– Завтра? Разве завтра суббота?

– Да.

– Ты не путаешь? Завтра четверг!

– Нет, суббота. Вы уже три дня болеете.

– Три дня?

– Ну, да.

Максим встал. Его шатало. Голова кружилась. Но он знал, что болезнь уходит. Видимо, все три дня держалась высокая температура. Теперь она спала. Была слабость. Он попросил у Левушки крепкого чаю и вышел за ним на крыльцо. В холодильнике был кусочек сыру, нашелся и сухарик к чаю. Максим все это съел, немного полежал, потом вновь встал и заказал себе к завтраму выздороветь окончательно.

Когда в субботу к нему постучалась в дверь обеспокоенная рассказом Федора Михайловича Людмила Григорьевна, Бахтин был уже одет и чисто выбрит. Постель была убрана. Сильно похудевший Максим улыбался. В руках он держал сумку: надо было запастись провизией.

– Да что это вы придумали? – запротестовала Людмила Григорьевна. – Никуда я вас не пушу, вам еще лежать надо, а уж два-то дня я вас как-нибудь прокормлю. – Она ушла хлопотать на кухню, а к окошку подошел Федор Михайлович. Справившись о здоровье, он заявил, что у него есть вопросы. Бахтин предложил старику зайти, полагая, что стадия заразности уже миновала, но дед отклонил приглашение, сказав, что еще два дня поостережется. Вопросы задавал, стоя под окном.

– Объясните, пожалуйста, что такое «инотапа», если я правильно запомнил это слово.

– Инотапа? Не знаю. На каком языке?

– Может быть, инопата?

– И это не знаю. Почему вы спрашиваете?

– А вот еще, у меня записано: «Реламаринья».

– Релла манеринья?

– Вот-вот!

– Тогда все понятно. Я знаю и первое слово – оно звучит: инапатуа.

– Верно, верно. Что же это?

– Вы интересуетесь австралийской мифологией, Федор Михайлович?

– Нисколько.

– Да ведь эти слова оттуда.

– Объясните, если можете, их смысл, а потом я расскажу вам, как и когда их услышал.

– По представлениям различных австралийских племен, в первые времена, когда вся земля была покрыта морем и из-под воды выступали лишь самые высокие скалы, на вершинах скал обнаружили «склеенные люди» – релла манеринья, или инапатуа. Это было что-то вроде собранных в комок человеческих эмбрионов, похожих на сцепленные личинки. Склеенные эмбрионы с закрытыми глазами, ушами и ртом беспомощно копошились на скалах до тех пор, пока с севера не пришел некий предок ящериц, который ножом отделил зародыши друг от друга, тем же ножом прорезал им глаза, рот и уши, сделал обрезание – т. е. придал им законченный человеческий облик, после чего обучил их всему, что следует знать и уметь людям.

– Любопытно.

– Теперь ваша очередь, Федор Михайлович, удовлетворить и мое любопытство.

– Видите ли, Максим Менандрович, последние две ночи вы часто вскрикивали и производили те самые слова, которые я записал, как расслышал, да вот и решил поинтересоваться. Спасибо за ценный рассказ.

– Вот оно в чем дело, – протянул Максим и задумался, невежливо забыв о Федоре Михайловиче. Последний некоторое время потоптался у окна, очевидно, желая продолжить расспросы, но, заметив, что Бахтин ушел в себя, нехотя ретировался.

– Да, да, – вспоминал Максим, – именно это я и видел; «склеенные люди». О, Господи, это я был спаян с другими в один комок. Боками я сросся с Николаем Федоровичем и Людмилой Григорьевной, голова слиплась с головой Федора Михайловича, а ноги прикрепились к Льву Николаевичу. Там были еще какие-то неузнанные люди – не помню. Вот он, этот бред и этот кошмар – релла манеринья! О, кошмар, кошмар! – передернулся Бахтин, и у него странно, как никогда прежде не бывало, заболело все тело – по контуру.

Людмила Григорьевна принесла на подносе обед.

– Сегодня после обеда разрешается небольшая прогулка, – сказала она, улыбаясь. – С дамой, – прибавила кокетливо.

Максим поблагодарил. Он в самом деле собирался пройтись немного и как раз хотел просить Людмилу Григорьевну составить ему компанию. Она взяла его под руку, и они медленно пошли к реке.

– Я слышала, как вы рассказывали Федору Михайловичу про человеческие личинки, кажется? Вам что-то привиделось? Или про это нельзя спрашивать?

– Нет, отчего же? Я только не все еще вспомнил. Но, по-моему, это был самый жуткий сон в моей жизни.

– Вот как?

– Да... Во сне я чувствовал себя нераздельным с множеством чужих мне людей. Все вместе мы являли собой копошашуюсь беззащитную массу с общим и довольно темным сознанием. В моей голове пробегали какие-то мысли, наверное, все же индивидуальные, но неясные и неуловимые. Я хотел повернуться – и не мог. Потом каким-то образом высвободилась моя правая рука и через некоторое время в ней обнаружился финский нож. Просыпалось личное сознание, и я понял, что мне необходимо вырубиться из общей массы, то есть вырубиться буквально: вырезать свое тело так, как выпиливают лобзиком фигуру из середины фанерного листа. Впрочем, это неверное сравнение – лист ведь однороден, а у нас, у склеенных людей, все же были собственные формы. Мне следовало финкой бить по контуру. Я бил – и резал по живому. Справа от меня была женщина. От нее-то мне и надо было отделиться в первую очередь. Она вопила: было больно. Я тоже орал и просил у нее прощения, объясняя, что так будет лучше, что это необходимо. Мы лежали в крови, и я все бил и бил... по контуру! По контуру!

Бахтин размахивал рукой, показывая, как он Орудовал ножом, Людмила Григорьевна смотрела на него с испугом.

– Какой ужас! – говорила она. – Какой ужас!

– Да. Я помню, что тогда же, в бреду, я сумел сформулировать идею свободы и права на неслиянность и раздельность, и считаю это своей заслугой! потому что труднее всего было отделить голову, которую настойчиво проникали мысли из ближайшей чужой головы, и надо признать, что эти чужие мысли обладали почему-то властной определенностью и настойчивостью. Впрочем, эти чужие мысли я начисто забыл.

– Это был Федор Михайлович? – тихо спросила Людмила Григорьевна. – То есть, я имею в виду – чужая голова с властными мыслями. Это он? Ладно не отвечайте, я сама знаю, я и женщину отгадала.

– Да? – удивился Максим.

– Между прочим, вы действительно спите голова к голове – в изголовье у вас одна и та же стена. Что же касается его повелительности и силы... вам бы познакомиться с ним лет десять назад... Что это за человек! Что за человек!

В Бахтине проснулось любопытство, но он молчал, ожидая, что Людмила Григорьевна сама разговорится. Он не ошибся – ей, видимо, хотелось поговорить об этом.

– Этой семье всегда довлел домострой, и Федор Михайлович был в ней полновластным правителем и деспотом. Один только человек изредка осмеливался на робкий бунт, – это был старший сын – Юрий Федорович – он умер пятнадцать лет назад.

Она передернула плечами, как от холода, и задумалась.

– Умер совсем молодым и без видимой причины. Талантливый был человек, но очень печальный... Да... То есть я хотела о Федоре Михайловиче... Он ведь, знаете, ммм, он был... снохач.

– То есть?

– Снохач – так, знаете ли, называют людей, которые отбивают жену у сына... Вот... И Федор Михайлович, стало быть... Такая в нем была победительная сила, что совсем еще молоденькая тогда девочка... без оглядки... без стыда... гордо глядя в глаза людям... И Юрий Федорович... Нет, простите... Я не могу... Я, кажется, переоценила свои возможности.

Людмила Григорьевна достала платочек, вытерла глаза и высморкалась. Они уже дошли до реки и остановились.

– Вам здесь нельзя оставаться, – сказала она, – вы еще не вполне здоровы, и первая прогулка затянулась. Пойдемте обратно.

– Пойдем, – согласился Максим. Он и впрямь очень устал – от прогулки или от беседы, Бог весть.

Первое желание, которое возникло у Бахтина, едва он оправился от болезни, было приняться за статью. С ним это и прежде случалось; нездоровье загадочным образом стимулировало работу, которая, казалось, зашла в тупик. Словно бы кризис творческий преодолевался вместе с физическим и посредством последнего. Бахтин ощущал, что произошел какой-то сдвиг; какое-то смещение было и в сознании, и во взглядах, и в самой установке. Максим отчужденно пересмотрел свои листки. Все не то, не то: персонаж, оплотнение, другой, двойник, трансгрессиентность, эмбрион. Эмбрион? Эмбрион! Да-да! Комок склеенных эмбрионов! Склеенные люди – релла манеринья! Вот оно, то самое! Не двойники, но сцепленные человеческие личинки, со смутными мыслями, нераскрытыми глазами и запертыми ртами. Монологичность? Какая же монологичность – общее сознание! Диалогичность? Что же это за диалогичность – полная нерасчлененность! Как люди получили завершенность? Их отделили друг от друга, оторвали, отрубили, им ножом прорезали едва намеченные ноздри, щели глаз и рта. И кто же сделал это? – Предок ящериц. А кто же больше похож на эмбриона, чем ящерица? Он и есть эмбрион – первый самостоятельно отделившийся от склеенных человеческих личи-

нок. Вот он – автор – предок ящериц! Вот его первый жест – финкой по контуру! Освободиться и свой освободить: раскрывать глаза, уши, ноздри, рты! Виждь, внемли, дыши, говори! И стоит автор, залитый кровью – своей и чужой. Нет, чужая кровь не то слово. Кровь своя и не своя. Здесь одновременность свойства; своя и не своя сразу, это одна кровь. И автор обращает к персонажу речь, и тот отвечает своими словами. Своими или автора? Знает автор, что ответит персонаж? Знает и не знает, и слова – автора и персонажа, свои и не свои. Нет свободы большей, чем авторская, нет большей несвободы. Релла манеринья! Бахтин записал эти слова как термин поэтики и, по обычаю литературоведения последних лет, закодировал его сокращением: Р. М. Этими буквами он и собирался теперь назвать свою статью. Однако, чем больше Бахтин думал об Р. М., тем явственнее понимал, что такая научная статья не может осуществиться. О трансгредиентности можно, ну, обругают за нерусское слово, но Р. М.! Нет, дело не в названии, конечно. Австралийский термин в нынешнее время не более странен, чем греческий или латинский. Дело в методе. Объяснить научными средствами свое открытие Бахтин не сумеет, да и с самого начала, как бы все это ни скрывалось за понятиями: «прототип», «транспонирование», «законы перевода», – занятия Максима имели паранаучный характер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.